

*Деду моему  
Ивану Григорьевичу Витковскому,  
другу и учителю, посвящаю*



Всё о Мишель

Возможно ли, чтобы при рождении ребёнку — девочке — дали имя Мишель? Тогда, в десятилетнем возрасте Роман был поражён этим фактом в самое сердце.

Нет, сейчас, конечно, всё возможно, и Мишели, и Николи, и Сюзанны — не редкость. А вот тогда, в восемьдесят шестом, когда родились они с Мишель... Чем вообще можно было руководствоваться? Роман помнил, как ещё младшим школьником задавал этот вопрос маме с папой, а его весёлые продвинутые родители пытались по-своему «прокачать» эту тему.

— Ну-у-у... возможно, её мать — тайная поклонница Пола Маккартни, — предполагала мама.

— Угу. Или отец — явный обожатель Мишель Мерсье, что кажется мне наиболее вероятным, — парировал папа.

Но это было не про неё. В двенадцать Роман начал слушать «Битлов», в четырнадцать посмотрел «Анжелику». Ничего объединяющего героиню композиции «Мишель», к которой Маккартни так страстно зывал «I want you, I want you, I want you...», с Мишель Гердо не нашёл. «Маркизу ангелов» с оголённой грудью, мушкой на щеке и томным взглядом исподлобья можно было вообще не рассматривать.

Впервые он увидел Мишель, когда учился в третьем классе. Был холодный сентябрьский день, задувал жуткий ветер, по небу носились косматые облака. Роман торопился на первое занятие в художку — детскую художественную школу. Настроение было отличным. Его переполняло радостное нетерпение, в портфеле лежали самые удачные рисунки, в спину толкало неукротимое желание немедленно заняться любимым делом.

Не дойдя до школы, на повороте с Набережной, рядом с огромным, волнующимся от ветра тополем, Роман увидел худенькую фигурку в красном, высматривающую что-то в кроне дерева. По погоде тепло одетого, плотненького Романа вдруг передёрнуло от холода: он странным образом вдруг почувствовал, как, должно быть, ужасно стоять на стылом ветру в таком тоненьком пальтишке и весьма условной шапочке. Но думать об этом было некогда, Роман прибавил шаг и через несколько минут толкнул тяжёлую дверь художки.

Ничего интересного в этот день там не произошло. Специально приглашённый заслуженный художник сказал длинную и скучную речь, потом всем устроили экскурсию по школе, а в конце развели по классам и представили педагогов.

«Класс педагога Сухих», — услышал Роман перед дверью в свой. «Вышел Сухих из воды», — хихикнул за спиной вертлявый мальчик по фамилии Моторкин. Всё. Порисовать не дали.

Выходя через два часа из ворот школы, раздосадованный юный художник отметил, что погода к лучшему не изменилась. Всё тот же холод, тот же ветер... И кстати, девочка в красном на том же месте, но уже в другой позе: сползшая спиной по стволу дерева к выпирающему из земли корню, свернувшаяся в жалкий клубочек...

«Дура какая-то... — сердито подумал Роман. — Дома, что ли, у неё нет...»

И услышал в спину слабенький голосок:

— Там... котёнок на дереве. Слезть не может...

Мальчик остановился.

— И как он туда попал? — строго спросил он.

— Как... собаки загнали, — тихо проговорила девочка.

Роман задрал голову. Не очень высоко, на ближайшей ветке, сидело крошечное существо с огромными вытарашенными глазами и беззвучно мяукало. Расстояние было таким, что взрослому человеку можно дотянуться и достать, но только встав на какой-нибудь ящик или табуретку.

— Ну попросила бы кого, — досадливо пробурчал Роман.

— Я просила, всем некогда. Говорят... жрать захочет, сам слезет. А он... не слезает. Не умеет просто.

Роман окинул взглядом ствол. Залезть можно, ствол удобно корявый, а на ногах очень кстати были надеты кроссовки с отличным протектором. На уровне головы торчит обломок сучка, за который легко ухватиться...

— Если хочешь, можешь встать мне на спину, — проблеял тонкий голосок.

Роман оглянулся. Девочка в красном уже плюхнулась на четвереньки и показывала головой на свою худенькую спинку — мол, давай, залезай, я выдержу.

— Дура, что ли! — заорал Роман, и девочка встала.

Тут только он разглядел её по-настоящему. Она оказалась абсолютно непохожей ни на одну из знакомых ему сверстниц. И дело даже не в том, что на ней надета какая-то старая и грязная одежда — одежда была нормальной, но какое-то это всё не по росту, неловкое, без лоска и кокетства, с которым наряжают своих дочек любующиеся ими мамы. Все окружающие Романа девочки были одеты именно так — он ведь жил в хорошем районе и ходил в престижную

английскую школу. Да и то сказать, какая бы мама отпустила в этом возрасте дочку на добрых три часа болтаться неизвестно где — девочек из приличных семей встречали и провожали мамы, бабушки или няни.

Роман продолжал разглядывать незнакомку. Самым дурацким предметом её гардероба была шапочка-пингвин — старинная, из далёкого времени, вязаная синяя шапка с мыском и тремя полосками на темени: Роман видел такую на фотографии, где мама на катке в пятом классе. Волос под шапкой не видно. Глаза — странные, круглые, почти без подвижного века и без ресниц — застывшие, карие, блестящие... Полуоткрытый треугольный рот. Между корнями дерева Роман вдруг заметил валяющуюся коричневую папку с потёртыми углами и надписью «Папка художника».

— В художку, что ль, ходишь? — ревниво спросил Роман.

— Буду ходить. Поступила только, — тихо ответила девочка.

«Ага, а сегодня не пошла, с котёнком проваландалась», — понял Роман.

Однако надо было лезть на дерево. Роман бросил портфель, поплевал на руки и полез. Ухватился за отломанный сучок, помог себе ногами, взялся руками за тот, где сидел котёнок. Котёнок замыкал, вздыбил шерсть и отодвинулся чуть дальше. Почему Роман не схватил его и не соскочил, пока висел на втором суку и опирался ногой на первый, он и сам не мог себе объяснить. Зачем надо было подтягиваться и становиться на ветку, на которой сидело беззвучно орущее чучело, да ещё прыгать на ней, испытывая её упругость?

Она и обломилась, конечно. Тополь дерево некрепкое. Как Роман летел вниз вместе с растопырившим лапы и распушившим хвост котёнком, он уже не помнил. Но летели оба, как потом выяснилось, правильно. Котёнок, целый и невредимый, смылся моментально, а Роману пришлось тяжелее: он получил перелом обеих рук.

С того момента, как Роман грохнулся на землю, девочка вдруг начала действовать быстро и правильно: моментально доставила тяжело стонущего спасателя в находящуюся рядом аптеку, толково объяснила, что произошло, попросила вызвать скорую и позвонить маме. Даже брошенный портфель принесла.

В памяти у Романа остались обрывки воспоминаний о том, как они плелись в эту аптеку. Девочка, словно фронтовая

медсестра, всё время пыталась подлезть под одну из его сломанных рук, обнять за пояс и тащить, принимая на себя тяжесть его тела. Роман глухо стонал и кричал «отвали!».

Потом она молча ждала с ним на стуле, пока не приехала скорая. В больницу её не взяли.

Перепуганные папа и мама приехали в травму, когда Роман уже сидел перед доктором с записанными руками. Мама ворвалась в кабинет, подбежала к стулу, и, не зная, как половчее обнять сына, в результате крепко прижала к себе его голову.

— Как же ты так, сынок? — осипшим от переживаний голосом спросила она. — Зачем надо было руки-то подставлять?

— А вы предпочитаете другой характер травмы? — сухо спросил доктор, не отрывая головы от своей писанины. — Что именно? Сломанную шею? Разрыв селезёнки? Черепно-мозговую?

— Упаси бог, — сказала мама.

— Вот и молчите. Падал ты, пацан, и группировался абсолютно правильно, реакция у тебя превосходная. И впредь так действуй, когда прижмёт, следуй инстинктам, заложенным природой.

Доктор закончил писать и положил ручку, давая понять, что аудиенция окончена.

В художку Роман попал только через полтора месяца. И сразу увидел в своём классе незнакомку. Увидел и услышал, как её зовут — Мишель Гердо. После занятий он подошёл к склонившейся над неоконченным рисунком девочке и спросил:

— А в обычной школе тебя как зовут? Миша?

— Вермишель, — ответила она и ещё ниже склонила голову.

Роман хихикнул. Мишель подняла глаза, и он увидел серьёзное треугольное личико, обрамлённое чётким контуром тёмных волос. Правда, волос было не слишком много, но, лёгкие и пышные, они объёмно лежали на затылке, а на макушке почему-то топорщились непослушным коротеньким фонтанчиком. «Какая странная стрижка», — подумал Роман. Смеяться ему расхотелось.

— Как там котёнок? — небрежно спросил он.

— Не знаю, — пожала плечами она. — Это же... не мой. Это какой-то незнакомый... котёнок.

Так. Ко всему странному в её облике добавилась странная манера говорить — с придыханием и паузами. Она даже в самых простых предложениях долго подбирала самые простые слова, но это не раздражало, не вызывало желания поторопить, подсказать, а наоборот, хотелось вслушиваться, ждать, как будто на самом деле она могла сказать что-то очень важное. Кстати, её манера разговаривать с возрастом не изменилась.

Когда он понял, что «погиб», Роман и сам толком не помнил. Но когда-то тогда, это точно. Потому что с того момента, когда услышал «Вермишель», думал о ней уже неотступно. Думал, вспоминал её прерывистые фразы, поворот головы, манеру смотреть своими блестящими глазами, не смаргивая...

Мишель ездила в художку на двух троллейбусах с Крестовоздвиженки — жуткой глухомани на окраине окраины города, рядом с кладбищем. Тогда, в третьем классе, Роман Никольский даже и не подозревал, что такие места в их Бердышеве существуют. А она спокойно ездила одна, и ничего. Впрочем, нет, не одна. За ней всё время таскались два придурка — одноклассники Пакин и Карпинский. Романа это жутко бесило. Прямо десант какой-то из школы № 15! Из школы Романа, например, во всей художке только он один и был. И это притом что его 38-я рядом, а не в медвежьем углу, как 15-я. «Учитель по ИЗО, что ль, у них там какой-то особенный, в этой пятнадцатой, что они такими толпами идут?» — раздражённо думал Роман.

Роман после занятий выходил немного раньше них, прятался за стеклянной дверью переговорного пункта на другой стороне улицы и ждал, когда троица дотащится от художки до троллейбуса. Пакин с Карпинским по дороге валяли дурака: прыгали друг на друга, толкались, орали всякую ерунду и пинали камни. Иногда несли её коричневую папку с потёртыми углами, мотая ею в разные стороны.

Как-то раз ранней весной, в марте, выдался чудесный, тёплый денёк. Снега в ту зиму выпало мало, и под солнцем вмиг высохли ступени подъездов, скамейки, асфальт... После занятий Роман занял свой обычный наблюдательный пункт. Мишель в этот день шла к троллейбусу только с Пакиным, Карпинский то ли болел, то ли отлынивал. Почему-то, не доходя до остановки, они вдруг перебежали дорогу на ту сторону, где находился переговорный пункт и уселись на скамейку в сквере, перед самым его лицом, и Роман, как

рыбка в аквариуме, застыл растерянный, беззащитный и смотрел, как они, почти касаясь головами, перебирают рисунки из коричневой папки.

Роман стоял не дыша и чувствовал, как какая-то железная лапа с острыми когтями хватает его горло изнутри и постепенно сжимает. Голове стало очень жарко, на глаза набежала предательская влага.

— Это что, счастливый соперник? — дядька, задавший вопрос, возник рядом с ним как-то незаметно и, покуривая сигарету, с любопытством наблюдал за происходящим.

— Нет. Это... Пакин, — глухо пробормотал Роман и судорожно вздохнул, пытаясь проглотить застрявший в горле колючий ком.

— Ага. Пакин... Это, конечно, всё меняет... — неопределённо проговорил дядька.

Они постояли ещё немного.

— И... что мне теперь делать? — вдруг решился спросить его Роман.

— Ничего. Терпеть. — Дядька выбросил в урну окуроч. — Терпеть и ждать.

Роман сжал кулаки, ногти больно вонзились в ладони.

— А может, д-д-дать ему? — сквозь зубы процедил он.

— Нет, — качнул головой дядька, — тер-петь. Ведь ты человек гордый?

Да, Роман был гордым человеком. И бить Пакина не стал. А незнакомый дядька, сам того не зная, определил тактику его поведения по отношению к Мишель на многие годы.

Место, где живёт Мишель, он вычислил ещё в пятом классе. Улица Яблочная — если напрямую, через пустырь, то пятнадцать минут от конечной остановки «Ипподромная», углубляясь в кущи заброшенных садов. Дальше только ипподром и кладбище. И ее старый щитовой дом, утопающий в зелени. Позже, бродя там в одиночестве, Роман рассмотрел его во всех подробностях. Дом был одноподъездный, восьмиквартирный, из тех, что построили наспех на смену баракам. Его фасад никогда не ремонтировался, и понять, какого цвета он был первоначально, не представлялось возможным. Напротив входа в дом, не перекрывая его, а чуть сдвинувшись вправо, стояло восемь здоровенных, сбитых из занозистого горбыля сараев. За ними раскинулся просторный, заросший старыми деревьями сад — очаровательный в своей дикости, утопающий в высокой ласковой траве, щедро

роняющий по осени каменные вязкие груши-дули и кислоющие, выродившиеся в дички яблочки.

Вокруг дома располагалось восемь аккуратно нарезанных участков — огородики, принадлежавшие жильцам, отделенные друг от друга живыми изгородями — сетками, плотно увитыми девичьим виноградом или каприфолью. Они образовывали чудесные маленькие зелёные комнатки, и самое главное — в торце каждой из них имелся крошечный летний домик, не сарай, а именно домик — три на три метра, с лилипутской терраской, забранной небольшими квадратными стёклышками.

Жильцов там обитало немного — в каждой квартире один-два человека, поэтому пространство вокруг дома обычно пустовало. Роман полюбил бродить вокруг зелёных комнаток, сидеть в саду, вдыхая полной грудью очарование этого места — мира Мишель... Ему зачем-то очень нужно было в этот мир, хотя он и сам не знал, зачем...

С течением лет он всё больше проступал, этот мир, на всём, что её окружало, делая то, к чему она прикасалась особенным, неповторимым.

В свободное время Мишель выходила с маленьким стульчиком и баночками с краской и что-то там мазала, скрытая зеленью, на фундаменте...

И этим же вечером, уже в темноте, подсвечивая себе фонариком, Роман вдруг видел, как рядом с обшарпанной дверью на истерзанной трещинами и выбоинами стене вдруг выросло райское дерево — с золотыми яблоками, с лазоревыми птицами...

Причём каждая ямка, каждая выбоина была использована Мишель самым непостижимым образом — она не замазывала их, а вплетала в структуру рисунка. Ветки яблони повторяли очертания трещин на фасаде, у птички вдруг возникал глаздырочка, делающий её удивительно живой, яблоко обретало неповторимой конфигурации червоточину, из которой высовывался изумрудный червяк с удивлёнными круглыми глазами, а самая большая яма стала отверстой пастью бирюзовой с золотом змеи, в боевой стойке охраняющей яблоню. Пасть была настолько дышащей, живой, её дно, подчёркнутое неровным рельефом выбоины, так правдоподобно горело цветом остывающих углей, что, только пересилив себя, можно было дотронуться до рисунка пальцем, — и сразу же хотелось отдёргнуть руку из-за ощущения, что палец проваливается неведомо куда, — под рукой ведь была яма...

Позже по обе стороны двери появились драконы — синий с золотом и коричневый с золотом, в золотых же коронах. Коричневый, видимо, был драконихой — об этом Роман догадался, прочитав надписи в готическом стиле, полукругом идущие над их головами: Кобальт и Терракота.

Вообще, уже к третьему году обучения стало ясно, что из Мишель получится необыкновенный художник. Её очень часто ругали — и за неточную линию, и за огрехи в композиции... Романа, напротив, всегда хвалили: за твёрдую руку, верные пропорции, за то, что светотень на его рисунке распределялась правильно. Но грош цена была этим похвалам.

Когда на общем стенде выставляли все работы, старательно, по всем правилам выполненные акварелью натюрморты, — только слепой мог не увидеть, насколько мертвы оказывались их убогие композиции рядом с буйными, роскошными рисунками Мишель! Все предметы на её натюрмортах удивительным образом имели ярко выраженные характеры. Они были живыми.

Например, «Натюрморт с тыквой». Не ясно, как она этого добивалась — арсенал средств исполнения у неё был таким же, как и у остальных, но Роман видел на бумаге не унылые осенние овощи на деревянном столе, а... цирк! Да-да, цирк, потому что тыква с брошенной на неё сверху веткой калины оказывалась и не тыквой вовсе. Она была как-то так слегка, неуловимо скособочена, так по-особому румяна, что Роману было абсолютно ясно — это старый, толстый, циничный клоун, весь размалёванный да ещё в красном колпаке. А арбуз, поставленный на попа позади тыквы, это не арбуз, а цирковой силач с напружиненным торсом, в полосатом трико, вытянувшийся в струнку, красующийся перед публикой. А вот это откатившееся в сторону бледное антоновское яблоко — это Пьеро, грустный, вечно униженный, отвернувший лицо от этих двоих... Хотя где у яблока может быть лицо и каким способом оно может его отвернуть? Но волшебным образом Роман это *видел!*.. Как и то, что располагаются они все не на столе, а на арене, хоть и на столе. Как-то угадывался круг циркового софита, но только угадывался, упрекнуть автора в перемещении заданного источника света не представлялось возможным, так искусно было всё изображено.

Их педагог по рисунку Аделаида Наполеоновна Сухих терпеть не могла работ Мишель. Она называла их китчевой отсебятиной, но Роман с самого юного возраста точно знал,

что это не китч. Это её неповторимая манера, душа и фантазия. Стоило только посмотреть, как замирают перед её работами родители и гости школы, ошарашенные игрой воображения художника, как становилось ясно, это — настоящее. Неизвестно, видели ли все то же самое, что видел в этих пейзажах, натюрмортах и портретах Роман, или у каждого они рождали какие-то другие ощущения, но то, что видели, это точно...

К двенадцати годам Роман начал догадываться, а к четырнадцати окончательно понял, что Мишель существует одновременно в двух параллельных мирах. В одном из них, там, где Роман, — достаточно формально, следуя всему необходимому; а по-настоящему — в другом, где Кобальт и Терракота, котёнок и тыква-клоун... На осторожные вопросы, возможно ли вообще с людьми такое, мама рассеянно ответила:

— Возможно, возможно... Это шизофрения, сынок! А ты почему спрашиваешь?

Но никакая это была не шизофрения. Романа жутко оскорбило такое предположение, особенно из маминых уст — ладно бы ещё эта дура Сухих... Просто Мишель было дано необщее, тонкое видение, как даётся музыканту абсолютный слух и умение из нематериальных сфер улавливать неземного строя мелодии, как одной из тысяч балерин даётся непостижимая возможность в прыжке на доли секунд зависать над сценой, опровергая закон всемирного тяготения...

Хотя можно предположить, что у балерины тоже шизофрения.

Кстати, не считая каких-то случайных, обидно ранящих оговорок, родители Романа вели себя на удивление тактично. Их отношение к сыну определялось глубочайшим доверием и уважением. Причём оно было естественным, само собой разумеющимся, точно таким же, какое они испытывали друг к другу. Они никогда в жизни не интересовались, например, где это он шлялся полночи, не лезли в душу, не выспрашивали, есть ли у него девушка и каковы его планы на будущее.

Вряд ли они знали, что половину своей небольшой жизни он провёл в безлюдном дворе на Крестовоздвиженке, сидя за столом под яблоней, опустившей свои ветви почти до земли, невидимый окружающим...

В остальное время Роман как нормальный мальчишка его возраста дрался, играл на школьном дворе в футбол, а зимой в хоккей, обсуждал на переменах с приятелями достоинства различных марок автомобилей... Учился очень легко, хлопот учителям и родителям не доставлял.

Правда, имелась одна категория окружающих, интересовавшаяся Романом постоянно, интригуя и сжигая себя желанием узнать о нём как можно больше — школьные, классные и дворовые девочки. Роману и в голову не приходило, что он представляет для барышень почти такой же интерес, как для него — Мишель. Он был закрытым, загадочным, непостижимым. Сразу после школы исчезал в неизвестном направлении, не примыкал ни к одной из образовавшихся в девятом классе групп, никогда ничего о себе не рассказывал.

Не красавец: рост чуть выше среднего, плотный, с хорошо развитой мускулатурой, прямые брови, умные серые глаза, тёмные волосы, упрямо сжатый, не улыбочивый рот, всегда серьёзное выражение лица.

Но влюблялись — целыми классами. Заключали пари, первые красавицы пускали в ход весь свой арсенал обольщения, ссорились, выдумывали, интриговали... Никольский, сам того не ведая, был самой обсуждаемой персоной в школе: когда звучала его фамилия, учащались сердцебиения, сбивались дыхания, потели ладошки.

Если бы он только знал, сколько влюблённых глаз приковано к нему во время урока, сколько писем комкаются и рвутся в ночной темноте, сколько подушек мягко утирают сладкие девичьи слёзки! Но он не знал. Он рассеянно ронял «привет», когда видел кого-то из девчонок, «как бы случайно» спускавшуюся с верхних этажей в его подъезде, не замечал их на отчётных выставках в художке, умножая на ноль высокие каблуки, и мини-платьца, и томные раскрашенные личики...

Один раз, в одиннадцатом классе, во время экскурсии в Тарханы, на сиденье в автобусе рядом с ним плюхнулась Еговцева (по кличке Яга) — классная «фам фаталь». Весь класс, включая молоденькую учительницу, замер, затаив дыхание. Яга уверенно положила голову ему на плечо, немного поёрзала, ища удобное положение, и затихла.

— Представляете, — пересказывая эту историю в учительской, молоденькая литераторша сама волновалась,

как девчонка, — Никольский вёл себя так... Ну, как будто бы ему на плечо упал... Ну, скажем, сухой лист... Бровью не повёл, прикрыл глаза тёмными очками и сделал вид, что спит...

Учительница ошибалась. Роман не делал вид, он на самом деле спал. Голова Яги была действительно сухим листом на его плече, стряхивать который он не счёл нужным. Ну лежит и лежит. Мало ли почему человеку нужно посидеть два часа с неестественно вывернутой набок шеей. Класс, втихую хихикая, два часа наблюдал, как моталась многострадальная башка Еговцевой на твердокаменном плече Никольского, когда автобус подскакивал на ухабах. Излишне говорить, что на обратном пути юная оболстительница сидела в другом конце автобуса, подальше от Романа.

А он продолжал искать дверь в тот мир, в который путь ему был заказан. Мучительно долго, из мельчайшей мозаики складывалось его представление о жизни Мишель. Роман не собирался никого о ней спрашивать, а если бы и спросил, то вряд ли ему хоть кто-то ответил что-либо внятное. Не Пакина же с Карпинским, в конце концов, терзать вопросами...

В пятом классе его сведения о Мишель пополнились знанием, что у неё полная семья: всех учащихся из неполных просили написать заявления о скидке на оплату за обучение. Мишель в списке не было — значит, она жила с мамой и папой.

К седьмому классу Роман знал в лицо всех женщин, живущих в доме на Крестовоздвиженке. Там обитали: замотанная страдалница с усталой походкой и многочисленными кошёлками; сухая жердь с выпученными белёсыми глазами и в нитку поджатými губами, весной, летом и осенью одетая в один и тот же суконный полосатый сарафан; фигуристая дамочка со взбитыми пергидролевыми волосами, вечно подшофе; толстая приятная улыбчивая тётенька в кокетливых нарядах, часто что-то забывающая и за этим чем-то возвращающаяся домой... Любая из них по возрасту могла быть матерью Мишель. Но кто именно, — вот в чём вопрос. Роман больше всех грешил на страдалицу. Оказалось — дамочка...

В девятом классе он случайно познакомился с её отцом. Отец оказался художником, и обитал он не там, где жили Мишель с матерью, а на Ленина, в мастерских, расположенных на крыше двенадцатиэтажного дома. Каждый первогодок из художки знал про эти мастерские:

художническая братия, занимавшая их, была довольно многочисленной и именовалась «Творческая ассоциация “Художники на крыше”». Каждый год проводилась их совместные выставки, на которых Роман бывал и раньше, но только не знал, что в ряду прочих выставляется и отец Мишель — у них были разные фамилии...

В тот день на урок композиции вдруг припёрлась Аделаида и, как всегда, путано затараторила про какие-то подрамники, о которых «она договорилась», и что сейчас Мишель пойдёт к папе, а если одной тяжело, то будет правильно, если «кто-нибудь, ну вот хотя бы Никольский» отправится вместе с ней...

Роман слушал трескотню Аделаиды в полуобморочном состоянии, словно она доносилась сквозь толщу воды. Позже он не мог вспомнить, как они с Мишель вышли из школы, как сели в троллейбус и поехали в центр — словом, проделали весь тот путь, за которым он столько лет наблюдал со стороны. Потом дом художников, звонок в домофон и неожиданно громкий, весёлый голос из динамика: «Мишель, ты?»

Замусоренный, убогий подъезд дома Роман запомнил хорошо. Жуткий лифт, залепленный разноцветной жвачкой и немые кнопки с напрочь стёртыми цифрами. Только над одной из верхних много раз было прочерчено простым карандашом «11».

Выйдя из лифта, они направились к узкой, заваленной строительным мусором лестнице, запирающейся на решётку. Тогда она была открыта. Мишель шла впереди, показывая дорогу, уверенно ступая по кускам разбитой штукатурки, а Роман два раза споткнулся, чихнул от поднявшейся пыли и вдруг... Неприятный полумрак лестницы, наполненный пыльной взвесью, неожиданно сменился нестерпимо ярким светом безудержно голубого майского неба! Из тёмного проёма Роман шагнул на узкую открытую галерейку, опоясывающую дом на уровне крыши. Он машинально сделал ещё несколько шагов и схватился за перила, задохнувшись от невообразимой красоты, открывшейся перед ними.

Бывшая Купеческая видна как на ладони. Лабиринты старинных закоулков с краснокирпичными лабазами, приземистые особнячки с затейливо прилепленными друг к другу выше или ниже зелёными кровлями, прозрачные светло-изумрудные облака только распутивших листву

деревьев, словно парящие над изысканной причудливостью крыш... Роман узнавал и не узнавал знакомые с детства места. Мишель стояла рядом, и Роману казалось, что она испытывает сейчас всё то же самое, что чувствует он.

Вдвоём они будто плыли над родным городом, над старинным центром, разглядывая его во всех подробностях: прямоугольник рыночной площади с каменными торговыми рядами начала девятнадцатого века, бывший «Гранд-отель» с дивными пропорциями итальянского палаццо, осквернённый вывеской «Продажа горящих туров», солидные строения купца-благотворителя Глазова под объёмными шатровыми крышами, напоминающими днища огромных кораблей...

Мишель молчала ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы он отошёл от первого шока, вызванного этим их совместным полётом. Потом тихо сказала:

— Там, в мастерской... вид на другую сторону. Ещё лучше.

Роману не надо было лучше. В тот момент его жизни всё самое лучшее происходило здесь, рядом с ней, и, честное слово, если бы сейчас она вдруг дала ему руку и взаправду сказала: «Ну? Летим?» — он, ни секунды не думая, шагнул бы через перила...

Сколько именно — пятнадцать минут, полчаса, час они торчали на галерейке, Роман и сейчас не смог бы сказать. Очнулись оба от весёлого окрика: «Мушильда, вы где пропали, интересно?»

В проёме тёмного входа, щурясь от яркого солнца, стояла весёлая внушительная фигура и заразительно смеялась. Роман одурманенным взором смотрел на отца Мишель и, силясь потом восстановить в памяти этот образ, определял его для себя как «зубы-борода-очки». Больше ничего вспомнить не мог.

Как в тумане проплыла мастерская, показавшаяся огромной и сильно захламлённой. Солнце било в запylённые окна; на стеллажах и около стен теснилось множество картин — преимущественно портреты молодых женщин; напротив балконного окна стоял венский стул, на нём белая сирень в кувшине и синяя ткань на спинке; поставленный наискось мольберт и огромный полосатый кот, виртуозно шляющийся среди этих непроходимых нагромождений...

Мишель невесомо тронула его за рукав и повела к балкону. Оттуда открывался вид на южную часть города с его буйной зеленью, одноэтажными домами, маковками

церквей, колокольной и синей извилистой лентой реки. Вид был чудесный, но он, к сожалению, не принадлежал уже им одним, как там, на галерейке.

— Мушка, и ты, любезнейший, берите это добро, — распорядился Зубы-очки-борода и указал на три связки подрамников, прислонённых к драному дивану.

Роман решительно перевязал три вязанки на две и только по настоятельному требованию Мишель оставил ей один подрамник, который она надела через плечо, как кондукторскую сумку. «Любезнейший» взвалил на каждое плечо по огромной вязанке, и они двинулись в обратный путь. В тесный лифт, конечно же, не влезли. Пришлось спускаться по неудобной узкой лестнице. Потом выяснилось, что ехать с такой поклажей тоже нельзя, потому что в этот час троллейбусы уже идут переполненными, и они топали пешком через полгорода — от центра до юга, именно по тем местам, над которыми пролетали некоторое время назад...

Роман был готов переть эти чёртовы подрамники хоть на край света и сколь угодно долго. Только бы идти рядом с ней в этом лёгком, невесомом, обоюдном молчании. Теперь он точно знал, что Мишель ничего не забыла — ни котёнка, ни его сломанных рук, а может быть, даже каким-нибудь десятым чувством угадывала его присутствие в своём дворе. И что есть между ними эта тонкая связующая нить, которая... Но только она в этом мире, к сожалению, а Роману хотелось в тот.

Изо всех сил желая, чтобы этот день никогда не заканчивался, в девять вечера он уже сидел около дома Мишель, в саду, под яблоней, невидимый окружающим, а ровно в двенадцать решился на новый поступок — вошёл в подъезд её дома.

Торчать в подъезде — совсем не то что скрываться в саду или бродить возле зелёных комнаток. Двор общий — мало ли кто там бродит, а вот в подъезде с небольшим количеством жильцов стопроцентная вероятность нарваться на вопрос: «Парень, ты кого ищешь?» И что отвечать?.. Хамить или врать?.. И то и другое он ненавидел с самого детства.

Но сегодня сам чёрт ему был не брат. Какая-то странная сила внесла его в перекошенную дверь. В подъезде, конечно, оказалось темно. Роман включил фонарик. Так... вторая дверь слева, раз окна в зелёную комнатку...

Луч фонарика нащупал искомую дверь. Роман повёл рукой вверх-вниз и... задохнулся от неожиданности. Отошёл на несколько шагов, чтобы охватить лучом полную картину

увиденного. Двери не было. А было... огромное, белоснежное, выше человеческого роста, продолговатое яйцо, настолько неправдоподобно выпуклое, гладкое, живое, что Роман не смог себя преодолеть и погладил его рукой. Пальцы ощутили плоскую деревянную поверхность.

Роман продолжал разглядывать рисунок. Гладким и целым яйцо было только по краям, дальше, от краёв к центру шла паутинка трещинок, а в самой середине кто-то его проклюнул, отчего большой кусок скорлупы вывалился, и там... Там, внутри, маленькие странные художники на белоснежном ничто рисовали мир. Один рисовал окно, через которое виднелись поле, река, голубое небо; второй, встав на лесенку, которую ещё только дорисовывал третий, вёл линию стыка потолка и стены с куском обоев в простецкий ситцевый цветочек; четвёртый начал доски пола и скамеечку, на которой мёл хвостом уютный рыжий кот; пятый уже закончил распахнутую дверь с тропинкой, уходящей в сосны и, наклонив голову, придирчиво оценивал сотворённое...

«Гномы», — ошеломлённо подумал Роман, а потом присмотрелся внимательнее — нет, не гномы. Маленькие художники были не гномами, а какими-то другими, странными, но очень симпатичными существами с огромными блестящими глазами, тоненькими, изящными даже не руками, а лапками, что ли... За спиной у них плескались золотистые полупрозрачные плащи с закруглёнными полами, головы обнимали непонятные объёмные шапочки. Самое удивительное в тех милых существах — это носики, чуть длинноватые, с намёком на раздвоенность, что делало их отдалённо похожими на Снусмумрика...

Мушки это, вот кто. Крошечные золотистые мушки, и не плащи это у них, а крылья. И на головах у них не шапочки, а невесомая, странная стрижка Мишель. «Мушель, Мушка», — стукнуло в голове. Маленькая золотая мушка, рисующая яркий мир на безликом ничто.

Вообще — почему именно муха? Роман мучительно думал об этом, бредя майской ночью домой по безлюдной дороге. Думал, трясясь потом на раздолбанной «копейке» и невпопад отвечая на вопросы весёлого ночного водила. Думал, силясь уснуть и ворочаясь до утра в кровати.

Утром спросил у мамы. Мама, как всегда, знала ответы на все вопросы.

— Маленькая мушка, которая из ничего создаёт прекрасное? Это дрозofiла, мой дорогой. Она единственная

на свете способна сотворить из простого виноградного сока изысканное, тонкое, драгоценное вино. А ты почему спрашиваешь?

Романа ответ устроил. «Она единственная на свете...» Драгоценное вино, неповторимый мир — какая разница?

Учебный год нёсся к завершению, как фрегат с наполненными ветром парусами. И в классе, и на пленэре Роман почему-то оказывался со своим мольбертом немного позади Мишель и смотрел ей в затылок, не отрываясь. Он уже хорошо улавливал её немного мушиную манеру двигаться — мелко-прерывисто, причём её тоненькие руки тоже почти всегда находились в движении — даже когда в классе не рисовали, а слушали лекции по истории ИЗО. Маленькие лапки Мишель трогали предметы на столе — ласково, мелкими движениями, будто наслаждаясь фактурой материала, из которого были изготовлены, — мяли или складывали бумагу, быстро и точно, и вдруг — р-р-раз! — и на кисточку насаживалась голова Петрушки или цветок в форме граммофончика...

В её руках оживало всё — проволочная оплётка от пробки, которой закупоривают шампанское, две круглые конфетки-жвачки, ластик, салфетки, конфетные фантики... Обе её лапки, соединяясь, сжимали-потирали между ладонями предмет, приготовленный к трансформации, потом моментально превращали его в нечто противоположное своему предназначению — неожиданное, живое, остроумное.

Не всегда Роман мог видеть, что получается у Мишель, но когда видел... Две серые каталожные карточки за несколько секунд обретали острые носы, хулиганские глаза и рты и куда-то гнались друг за другом на согнутых кочергами медных проволочных ножках. Оплётка от шампанской пробки становилась пучеглазым лебедем, хамски показывающим кому-то язык. Конфетки-жвачки слеплялись друг с другом, превращаясь в два одушевлённых арбуза — плачущий и утешающий... После занятий толпа визжащих от восторга девчонок расхватывала чудесные фигурки, а Мишель только разводила руками: пожалуйста...

В последний день занятий они не рисовали, а просто сидели в классе и слушали педагогов, записывая творческое задание на лето, списки литературы по искусству, рекомендуемой к прочтению. Роман ничего не слушал и ничего не записывал, а откинувшись на стуле так, чтобы не

застил Моторкин, смотрел в затылок Мишель и думал о том, что же будет этим летом.

И тут случилось невероятное — Мишель оглянулась, словно точно зная, куда направлен его взгляд. Два тёмных блестящих озера, мерцая, встретились с его глазами и заполнили собой всё вокруг. Отвести взгляд было невозможно, но выдержать — ещё труднее. У Романа перехватило дыхание и заледенело сердце.

Хрясь! — качавшийся на двух ножках стула Моторкин вдруг завалился назад, на спину, — класс охнул, задвигался, завизжала Аделаида.

...Роман уже знал, что будет делать этим летом.

Лето он провёл на Крестовоздвиженке. Оно стало поистине необъятным, это лето, вобрало в себя столько событий, сколько, наверно, не содержала до этого вся его пятнадцатилетняя жизнь.

Во-первых, Роман в одностороннем порядке познакомился с наиболее активной частью обитателей дома. Их было пятеро — трое дедов и двое ребятишек. Деды были одинокими, всё лето проводили в сараях, перебирали хлам, что-то мастерили и потихонечку там же гнали самогонку. Днём они грелись на солнышке, сидя на занозистых лавках у сарайных дверей, а вечером — иногда лениво, иногда азартно — резались в картишки. Дедов звали Спутник, Центр и Пистолет.

Самым приличным из них был Спутник — единственный, кто подметал шелуху от семечек перед всеми сараями, не употреблял матерных слов и возился с ребятишками — пятилетними близнецами Николашкой и Олечкой. Их мамаша, та самая замотанная страдальца, которую Роман когда-то посчитал матерью Мишель, тащила на себе хозяйство, ребят, тяжёлую работу и запойного, никчёмного мужа. Звали её Шура Таратынкина.

Вечером или в выходные, когда шёл дождь, чтобы дети не промокли и не простудились, Спутник развлекал их под навесом своего сарая — Роману из его яблоневого шалаша было хорошо видно, как это происходило. Занятие было всегда одно и то же: дед раздавал ребятам маленькие молоточки и здоровые длинные гвозди. Под его строгим наблюдением они забивали гвозди в специально для этого случая имевшиеся пеньки, причём гвозди держал сам Спутник, ребята только лупили молотками. Как только гвозди были забиты примерно на треть их длины, детям выдавались

Конец ознакомительного фрагмента.  
Приобрести книгу можно  
в интернет-магазине  
«Электронный универс»  
[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru)